



В. В. РОЗАНОВ

О «сибирском страннике»¹

После тех размышлений и наблюдений, плодом которых явилась книга «Люди лунного света», — явления как *хлыстовства*, так и *скопчества* становятся совершенно прозрачными, ибо определяется общий их *исток, начало*. Исток этот лежит в отклонении «половой стрелки» («лепота» Селиванова, — страсть, чувственное пожелание) от 1° (самец в абсолюте) и от 180° (самка в абсолюте), и — в прохождении этой половой стрелки по *промежуточным градусам*; причем чувственное пожелание в одном и в другом поле, ослабляясь, доходит до нуля, и *пропорционально возрастают духовные эмоции, духовные силы, духовные деятельности, духовные напряжения, огни, страсти*. Догмат хлыстов: «не женатый — *не женись*, а женатый — *разженись*», попадает точка в точку в природу «лунного света»: «*nolo concubere*», «*nolo nuptias*». Они уже и *женатые* — все равно *супружества не выполняли*, были к нему *апатичны, равнодушны*. Таковы были «духовные»; без плотской связи, браки многих ранних подвижников христианства, — о чем факты приведены в главе 1-й «Людей лунного света»; или, если и начинали супружествовать, то — *вскоре прекращали половую связь*. Ибо в людях «лунного света» на протяжении градусов, не очень удаленных от 1° и от 180° , *физическая способность сокоупления сохраняется*, и есть *маленький аппетит ее*, но он вскоре по удовлетворении окончательно угасает. Это и есть та дробь общего количества их, которая неудачно или даже нечаянно, необдуманно «*женилась*»; в крестьянском или духовном быту — «*женились*» (и вышли замуж) по воле родителей или по сословной традиции и закону должности (духовенство). Все таковые лица «*разжениваются*», вступая в хлыстовство: точнее, всем таковым, *навстречу*

¹ Печатается с сокращениями по: Розанов В. В. Возрождающийся Египет // Розанов В. В. Собрание сочинений / Под общ. ред. А. Н. Николюкина. М.: Республика, 2002. С. 418–438.

их природе, хлыстовство говорит: «Разойдитесь! — все равно ведь у вас *ничего нет*, или — *почти ничего*». Но, соответственно закону всеобщего мирового сложения организма, совокупление у них не исчезло, а только *скрылось*. *Наружу* — нет его; *функционально, анатомически* — нет; но оно в одних случаях частично (*у неполных хлыстов*), а у других вполне перешло в *жар* и *огонь* духовных волнений, каковые у образованных выражаются в умственном, поэтическом и общественном творчестве, до «задыхания» и «экстаза» (вдохновение), с «поглощающей страстью»; а у простолюдинов, которым *все это закрыто* по самой неизвестности, перед которыми не лежит этих рельс сотворяющего духа, — оно выражается в *радениях*, «*пророчестве*», в *дальновидении*, доходящем до ясновидения (Акулина Ивановна Селивановских «Страд», предсказывающая *навверняка* хлебородный год и уловы рыбы), в расширенном и углубленном *чувстве природы*, так сказать *осязании* природы, *обонянии* ее. Этот дар «предсказывать» и «предвидеть» у простолюдинов — есть у образованных их научный «гений». Все это — тончайшие щупальцы «мозга», «души», «пола», — как хотите назовите, но *выросшие* от того именно, что совокупление *ослаблено* или *прекратилось*, что дети *плохо рождаются*, или их *вовсе не рождается*... Все это дары пола, трансформировавшиеся в спиритуализм. «Земной ангел» или «небесный человек» (термин девственников) заговорил, стал *думать, догадываться, искать, открывать*; это — тот «ангел», первый канон которого и в нормальном уставе (монастырь): «*будь один, не женись*» (= «не женатый — не женись, а женатый — разженись»), «*не имей детей*».

Хлыстовство — это вольное, дикое, от создания мира бытийствующее *монашество*.

Монашество (добровольное и вдохновенное) — это упорядоченное, нормированное, принятое историей и человечеством, одобренное законом, нравами и бытом хлыстовство.

«Братцы» и «сестрицы» — *там* и *здесь*; «родители» — оставлены и «детей *никогда* не будет» — *здесь* и *там*. Это не переступимые, до преисподней, овраги, которыми окопано хлыстовство-монашество и отделено от мира; или, вернее, это высеченные в граните берега, в которых течет река «бесплоности» и «лунного света».

* * *

Пункт, на котором мы должны сосредоточить все внимание, заключается в том, что здесь — *бесчисленные оттенки*, неисчерпаемое богатство *степеней* и *форм*; что «хлыст» и «аскет» — это не какой-то

очерченный, *определенный* человек, — *определенного вида* и *определенной жизни*; а что *каждый человек* в сущности принадлежит *несколько* к хлыстовству, к аскетизму; но если он лишь *в малой дробь* принадлежит к ним, — то и остается нормальным человеком, женится, семьянинствует, рождает детей: но только *чуть-чуть в нем есть* «странности». Нет «хлыста» как чего-то общего, κοινον: есть «хлысты», *индивидуальности* хлыстовства, так же между собою *разнящиеся*, как разнились бы *те дети*, которые от них могли родиться, но *никогда не рождаются*. Вот эти возможные рождения, которые никогда не родятся, — мир абсолютно темный и неисследимый, не угадываемый, — образуют подспудною силою своею, подспудным тяготением своим, мир *хлыстовских индивидуальностей*, которые уже тем самым бесконечно варьируют, бесконечно *разнообразны*.

Канон только один, и он действительно *общ*: нет *тупости, вялости, апатии*. Все «в танце», говоря аллегорически; все «в радении», говоря тоже иносказательно; все — в *прыжке, акции, оживлении*, постоянном, неуправляемом. Скажем так: все — «в таланте» и иногда в «гении».

У кого «родилось бы *трое*» — в «таланте»; но у кого, как у Иакова, «было бы четыре жены и 12 сынов, не считая дочерей» — тот «в гение», и переходит в *историческую значительность*. О Григории VII Гильдебрандте можно бы сказать, что от него «родился бы целый народ»: но он «народа» не родил, зато *преобразовал наново*, дал *новую конструкцию* католичеству. Он был страстный враг брака, и именно с характерною хлыстовскою брезгливостью к нему. «У, как бы не *загадаться*»; «*священники* (католические) не должны им *гадаться*». Он был *меньше Селиванова*, но — уже почти Селиванов. Громада «самосознания о себе» Гильдебрандта вполне объясняет и селивановское чувство «я — Сын Божий, я — Христос, вторично пришедший на землю». Вообще «христы» и «богородицы» хлыстовские выклеиваются отсюда сами собою. «Мы все немножко *христы* и *богородицы*, но скромные пока, провинциальные; а *тот* вот (Селиванов или Радаев) — на весь мир *Христос*, и мы ему «поклоняемся».

Но если «нет детей» — то есть *эквивалент* именно «детей»: и отсюда *телесный смысл* всего их «Христовства», постоянное выпячивание именно *тела* своего «Христом» (или «богородицею»), и поклонение «телу» же его, а не спиритуализму, не духу: хотя отчасти — и духу. Но впереди всего — «тело» («*будущие* дети», «*нерожденные* дети»): оно для осязания и обоняния хлыста (рядового) совершенно не таково, как для нас; а — как для матери «тельце» ее первого ребенка, как для отца — его *младенец*, существо явно «священное», по всем наблюдениям. «Христос» хлыстовского ко-

рабля есть как бы «новорожденный» всеми хлыстами; и как мать, играя ребенком в колыбели, захватывает губами его ручку, локоток, берет в рот пальчики ножек, каждый пальчик по очереди: так хлысты «готовы точно укусить» своего Христа, но *сладко* укусить, без боли ему и только в наслаждение себе. Именно потому, что они не рожают и не будут рождать, у них возникает, — *только у них рождается*, — совершенно новое чувство тела, сахарного, золотого, сладкого, почти съедобного. Ну, а как «съесть нельзя» — то они хоть «до земли поклоняются» ему как «иконе» и «образу Божию». «Укусить» нельзя; ну — хоть «поцеловать». О, это уж непременно разразится: с жаром и волнением, с экстазом и сладостью, как мы решительно не умеем представить себе. Наконец, ведь ребенок именно — половое, это есть *fructus sexuum*: и потому переход поцелуев в ту форму, которая засвидетельствована в греческих таинствах и почти наверное существует у хлыстов (см. последнее письмо ко мне) — возможен, вероятен, очень близок. Наблюдайте внимательнее и осыпание поцелуями матерью своего ребенка, наблюдайте *подробнее*, и вы увидите кой-что из греческих и хлыстовских тайн. Во всяком случае это *не избегается* и матерью.

«Сладок каждый пальчик» сладостью нам совершенно неведомою: и в некоторых из древнегреческих мистерий совершалось живо-едение, как есть слухи об этом и у наших хлыстов, и это у них бывает или бывало. Собственно логика — *съесть всего своего «христа»*, «причаститься» им до косточек. Но этого — нельзя; а все другое — недостаточно, не насыщает, оставляет алкание и жажду. Отсюда — «еще повторить», «еще увидеть», «прикоснуться», «созерцать».

Песня хлыстов:

Тошным было мне тошнехонько,
Грустным было мне грустнешенько;
Мое сердце растоскуется —

выражает чудно по точности состояние хлыста вне физического прикосновения или хотя бы созерцания, видения «христа» их или их «богородицы». «Белый свет не мил», «не могу теперь», «все *тошно* без него, *в удалении* от него»... «Сами ноги несут», — ничто не удержит:

Мне в гости к Батюшке хочется.
Пойду млада: реки текут быстрые,
Мосты все размостились,
Перевозчики все отлучились;

Пришло молодой хоть в брод брести,
 В брод брести — омочиться.
 Сердечный ключ поднимается...
 Мне к Матушке в гости хочется.
 С любезною повидаться.

Вот! Вот! Вот! В этом — все дело: в духовном томлении, в тоске, пока хлыст (врожденный) не нашел хлыстовства, как учреждения, как «готового», как «корабля» подобных лиц, организаций, душ, в конце концов — «тайн» и «мистерий», первоначально в сущности *индивидуальных* и затем общих, коллективных, «корабельных».

Как и стих Лермонтова:

И долго на свете *томила*сь она (душа)
 Желанием чудным полна

выражает с удивительной общностью и глубиной хлыстовское самоощущение, которое *в уменьшенной степени* есть ведь общечеловеческое самоощущение. Может быть, последняя разгадка хлыстов заключается в этом определении, что они какие-то действительно *последние человеки, краевые человеки*, на «окраине» человечества (*humani generis*) лежащие, около какой-то бездны, с «ничего» под боком, или — «раем» и «адам» под боком; что они *переполнены человечностью* (опять же «нет детей») в степени нам вовсе не известной, — *нам*, которые *в середине*, вне «рая» (размножение); и, просто, этих краевых ощущений мы не знаем и *никогда понять не можем*. Я упомянул о Лермонтове: как томительно и вместе как *лично близко, лично известно* ему чувство трансцендентности! И тоже он пел о «любви» к какому-то «демону», довольно доброму, — довольно похожему на «христов» хлыстов... Пел со *странным очарованием*, особенно в «Сказке для детей»...

Мой юный ум, бывало, возмущал
 Могучий образ. Меж иных видений
 Как царь *немой и гордый он сиял*
 Такой волшебной-сладкой красотой,
 Что было страшно... И *душа тоскою*
 Сжималась — и этот дикий бред
 Преследовал мой разум много лет.

Кроме трансцендентности есть еще чувство катастрофы у Лермонтова, — близкого *конца и беды*, чем вообще полны апокалипси-

ческие секты, — да ведь полон и Апокалипсис. И вот если мы скажем, что все русские поэты ничего общего с хлыстами не имеют, а Лермонтов один имел кое-что общее с ними, *индивидуально-общее, обособленно-общее*, — то мы поняли бы *осязательно* очень многое в хлыстах и их психике, а также и в нем поняли бы эту бурю и быстроту творчества; и поняли бы то, что он вообще «прожил» свои 27 лет — как «прорадел» их, дурачился, озорничал, все чего-то «искал» и нигде не мог остановиться, «предвидел» смерть свою и самый ее образ (= «Акулина Ивановна» Селиванова) и засыпал мир необъяснимо-происшедшими стихами, вне обстоятельств службы, ученья и окружающего общества... «Откуда-то все родилось»..., как и *все* «неведомо откуда рождается» — у хлыстов.

«Не понимаю и творю»... как не сумеет сотворить никто из «понимающих, рассчитывающих, намеревающихся»: вот закон поэта, гиеродула, хлыста и Михаила Юрьевича. Разве это не «вскакивание» хлыста:

Бывают тягостные ночи:
 Без сна, горят и плачут очи,
 На сердце — тяжкая тоска;
 Дрожа, холодная рука
 Подушку жаркую объемлет;
 Невольный страх власы подъемлет;
 Болезненный, безумный крик
 Из груди рвется, — и язык
 Лепечет громко без сознанья...

 Тогда пишу. Диктует совесть
 Пером сердитый водит ум.

Великолепно и непостижимо; набор слов, и — огромное всякой поэмы!..

Вглядитесь в матерей с детьми, читайте Лермонтова, — и вы... еще не поймете, но приблизитесь к краешку хлыстовства, вы найдете *одну музыку* с ним, один *вкус* с ним...

«Зачем миру существовать, зачем жить людям, в грехе, слабости, еще в рождениях, бесконечных рождениях... для голода, для нужды, пустых забот и страданий: собрались бы они лучше все в один мировой *корабль* и, не дожидаясь, пока земля столкнется с планетой или сгорит в солнце, — лучше бы натанцевавшись, налюбовавшись, нацеловавшись, — скушали бы все сладко друг друга, и перешли прямо в Вечную Жизнь, Вечное Сновидение и Видения».

* * *

Есть пол *индивидуума*; но он всегда — только *момент*, только *фаза* или *стадия* в судьбе пола, в траектории пола, в его полете «от Адама до меня», т. е. всех моих предков и затем всех моих потомков. «Мой пол» есть какая-то точка в «нашем поле», *родовом* (*saxus generis*): который движется во времени совершенно так, как планета летит около солнца или как кровяной шарик движется в жилах. И можно даже этот *родовой пол*, или, что тоже или очень близко, — *пол человечества*, представить в следующей схеме как бы *мирового яйца*... <...>

Точки здесь выражают совокупления. Они начинаются от крайне напряженных и частых («священная проституция» древних, полигамия Соломона с сотнями «жен» и с «девицами без числа»); затем умеряются: здесь, — полигамия мормонов, в пределах 5–6 жен, и полигамия обычного мусульманина, с 2-я или с 3-я женами; переходят в спокойные (моногамия); и, наконец, почти исчезают. Тут их хватает только на «случайности» упорядоченного холостого быта, а у бедных простолюдинок идет «в продажу», как совершенно ненужная и не интересная себе вещь. Здесь образуется холодная проституция: в которой почти и не рождается детей, не рождается у совершенно здоровых, не рождается в начале проституирования. Ибо самый организм, с «камнем» пола вместо «хлеба» пола, в сущности уже почти гермафродитичен, почти содомичен, хотя его анатомия еще и сохранена; отсюда же часто наблюдается у проституток развитие «дружб» и, наконец, появляется осязательная содомия. *Все это связано с глубоким их равнодушием*, не только обычным, но всеобщим (редчайшие исключения!) к совокуплению, к самцу, к мужчине; ибо они прикрыто сами уже суть полумужчины (ругаются, — грубости их, склонность к пиву и вину, *мужской к этому вкус*). Затем, все это переходит *у мужчин в мягкость*, а у девушек во властительность и некоторую жесткость души, в «крепкое» *быта и фигуры*: совокупление здесь уже *не просто равнодушно, оно — отвратительно*, несносно, «грязно на вид» и «гнусно пахнет». От него бегут «куда глаза глядят» юноши, девушки; бегут в «Союз пифагорейцев», к Платону в тенистые сады *загородной Академии*, в «ученики» к Сократу, в уединенные, пустынные монастыри, в горах (Испания и Италия), среди леса или пустыни, на островах Белого моря или Ладожского озера, «на водопад Иматру» (Влад. Соловьев); бегут, наконец, и к хлыстам в «корабли» их... Вертикальная ось, соединяющая самца и самку, исчезла вовсе и заменилась *горизонтальной*

осью, где никакого полового тяготения нет. Ибо никто более *не* самец и *не* самка, а существо *средне-полое*, «solo» в мире, которое в «дополнении» не нуждается, ибо оно *utriusque sexus*, *столько же* самец, как и самка, и самка *столько же* сколько и самец, и живет *собою* или *с собою*. От этого в таких индивидуумах часто развивается «обычный отроческий порок», *к которому вовсе не все люди в одинаковой степени расположены*, а расположены именно пролетающие по этой дуге мирового пола, с ослабленной силою совокупления, ослабленным тяготением к женщине, где она более духовно *мечтается*, нежели ее физически *хочется* или, еще точнее, — *нежели ее нужно...* На этой горизонтальной длинной оси мирового эллипсиса пола — все «братья» и «сестры», с метафизическим, т. е. *вечным* и *корневым*, исчезновением родителей, полным к ним равнодушием и, наконец, враждою, полным их непониманием. «60-е годы» отрицали «отцов» не по тому одному, что отцы «устарели», а вот по этому чувству могущественной Афродиты Урании, в них бившейся, т. е. по тому же чувству, по которому и *настоящие* аскеты «не хотят принять в келью родную мать», или, как записано в «житиях» о многих *язычницах* в фазе *перелома от язычества к христианству*, — «в юности *ушла от отца*, отказавшись *от жениха*». Чудный образ такой девушки нарисован Лермонтовым, этим не опознавшим себя «человеком Божиим», «хлыстом», — поэзия которого вообще есть лучшее введение в хлыстовство; в сущности (в нашей литературе) — единственная понятная и существующая «дверь» к нему, «вход», «пропуск» в тайны его вздохов, слез и «рыданий»:

Это случилось в последние годы могучего Рима.
Царствовал грозный Тиберий и гнал христиан беспощадно.
Но ежедневно, на месте отрубленных ветвей, у древа
Церкви Христовой юные вновь зеленели побеги.
В тайной пещере под Тибром ревушим, скрывался в то время
Праведный *старец*, в посте и молитве свой век доживая;
Бог его в людях своей благодатью прославил.
Чудный он дар получил: исцелять от недугов телесных
И от страданий душевных. Рано утром, однажды,
Горько рыдая, приходит к нему старуха простого
Звания; с нею и муж ее, грусти безмолвной исполнен.
Просит она воскресить ее дочь, внезапно во цвете
Девственной жизни умершую... «Вот уж два дня и две ночи, —
Так она говорила, — мы наших богов неотступно
Молим во храмах и жжем ароматы на мраморе хладном,
Золото сыплем жрецам их и плачем... но все бесполезно!

Если б знал ты Виргинию нашу, то жалость стеснила б
 Сердце твое, равнодушное к прелестям мира: как часто
 Дряхлые старцы, — любуясь на белые плечи, волнистые кудри,
 На темные очи ее — молодели; юноши страстным
 Взором ее провожали, когда, напевая простую
 Песню, амфору держа над головой, осторожно тропинкой
 К Тибру спускалась она за водою иль в пляске;
 Пред домашним порогом, подруг побеждала искусством,
 Звонким ребяческим смехом родительский слух утешая...»

О, сколько историй таких: изящество, *удвоенная жизненность*, красота... Всегда при этом *фигура крупная* (приближение к мужской), *никогда* — миньятюрная, *волосы растут роскошно*, груди умеренно большие и чудного овала, все тело *глубоко пропорционально*, ни одной выемки, ни одной ямочки (два пола, чрезмерность пола). Но, слушайте:

*Только последнее время заметно она изменилась;
 Игры наскучили ей и взор отуманился думой.
 Из дома стала она уходить до зари, возвращаясь
 Вечером темным, и ночи без сна проводила. При свете
 Поздней лампы я видела раз, как она, на коленях,
 Тихо, усердно и долго молилась... кому?.. неизвестно...
 Созвали мы стариков и родных для совета; решили...*

Вы знаете ли, как кончается это только начатое Лермонтовым стихотворение? Несчастные родители, убийцы и не убийцы дочери, пришли просить о помощи *того самого старца, к которому в пещеру она и начала уходить тайно* и который и был ее убийцею, а впрочем — и не-убийцею. «Соседи и родные», к которым они обратились за помощью и советом, посоветовали старикам «затворить» свою дочь, запереть ее. И тогда она — умерла.

Тошным было мне тошнехонько / Грустным было мне грустнешенько...
 Множество таких историй, коротких и вместе бесконечных...

* * *

Мне нужно было посетить одного священника, — совершить почти сухой «визит», а во всяком случае короткий, чтобы сказать благодарность за доброе дело около больного, которое он сделал. И он и его «матушка» были молоды, одиноки, умеренно интеллигентны. Начитаны, —

он «даже во Владимире Соловьеве», она — в медицине и акушерстве. Все это было свежо и не свежо в их памяти; скорей — задернуто легкой кисейной занавесочкой. Они как будто «куда-то ушли от этого». В первое посещение, когда мне нужно было во что бы то ни было выпросить помощь для больного, и указана была мне семья этого священника, я не застал его дома. — «Может быть, матушка дома?» — спросил я. — «Матушка дома. Обождите». И через минуты три в дверях показалась лет 26-ти женщина с сухим, отчужденным, «ни до кого дела нет» лицом, которой я быстро заговорил о своей нужде и сел на диван, сказав, что «не уйду, пока не получу». В нужде бываешь груб и прям.

— Нет. Некого послать. Некого дать... Вам *нужно*: но *что же делать*, если — нет... кроме сестры мужа, которая держит экзамены...

Она говорила точно *не мне*, а куда-то «в пространство», сухо и высокомерно. И когда я снова точно закричал: — «Отыщите», — то... не вследствие этого выкрика, а скорее от того, что прошло уже минуты три и она как бы очнулась от чего-то... только я вдруг увидел, что прежняя женщина точно куда-то «пропала», как бы ушла в землю, а предо мною стояло совершенно другое существо, с первым не имевшее ничего общего.

Все лицо ее выразило такую нежность и человечность, такую интимность с вами, как бы вы ее всегда знали, как бы вы с нею *всю жизнь* вели дела, и она *от вас* уже получила много даров, много добрых дел, а во всяком случае — *сама* как бы пресыщена дарами, и физическими, и духовными, и готова все это высыпать на вас, на голову вам, на грудь, в подол рубахи, в карманы, куда угодно.

— Я — *ничего* не имею.

— Я — *богата*.

— Я — *никто* вам.

— Я — *все* для вас.

Вот перемена. Куда *то* девалось? Откуда *это* взялось? Она не была дурна и *тогда*, только очень бледна и бела; но *теперь* даже физически она была вся — грация, прелесть, порыв «без углов», скорей — полет какой-то, все лицо было полно улыбкой. Я кричал: «Скорей! Скорей!» Она торопилась. И минут через 10 мы уже сидели с «помощью» в пролетке. И я сказал, обращаясь к «помощнице»:

— Какая она *милая!*

— О, *вы* очень ей понравились. Я сама поражена: она совершенно *суха* и *мертва* со всеми приходящими. Да и мы, что около нее живем, не видим ничего, кроме угрюмости: редко-редко она выговорит слово, и в слове всегда этот тон: — «*Вы не нужны мне*»... Тяжело. Но вы или *понравились*, или пришли в *удачную минуту*. Счастье.

«Помощница» была курсистка, «наш брат», — девушка рациональная, простая, ясная.

И вот теперь мы приехали вторично «благодарить»... Нас, приехавших, было трое. Незначащие разговоры, небольшое угощение; уходили, входили. Я осматривал квартиру, всегда интересуюсь «жильем человека»: ибо «по человеку» — жильё, и «по жилью» — человек. Все хорошо, обыкновенно, церковно, но не преувеличенно церковно. Скучновато. Взяв со стола карточку, я удивился:

— Вот идиллия!

Внизу, на низкой табуреточке, «в ногах», сидел батюшка, молоденький и безбородый еще; а на диване сидел с бородой господин, положив руку «в полуобниманье» на совершенно тоже молоденькую матушку, а другою рукою он держал руку другой молодой женщины, которая его полубняла.

— Сестра и брат ваши?

— Нет, так!

— Как «так»?

— Ну же, — «так»: мы все очень дружны. Это — «подруга» матушки, сверстница по годам и одно лето жила у нас, гостила. А это...

Назвал имя и отчество, ничего не говорившее мне.

Я сказал:

— Точно «в раю»...

— Да и есть «в раю», ответил улыбнувшись священник.

Поехали. Дома. Близкий друг и говорит мне:

— Ты заметил, что Лизы не было в комнате? Удивительную сцену я видела. Не могу понять.

Я, осматривая квартиру, ничего не заметил в людях. Пил чай, ел орехи, балагурил. «Лиза» — близкий нам человек, девушка лет 23-х.

— «Я устала за чаем, да и ты прошумел уши болтовней. И попросила священника отвести меня в комнату, где я могла бы прилечь и отдохнуть полчаса. Он повел в боковушку: каково же было мое удивление, когда я увидела на кушетке Лизу и матушку: они держали за руку друг друга, и обе плакали. Лиза не просто плакала, а в слезах было что-то неудержимое. Они текли ручьем, — лицо было все мокрое... Но — не горькое и не расстроенное...

Когда я узнала, что ничего пугающего не произошло, то села возле них. Они все также продолжали сидеть, держа за руки друг друга, а матушка тихо говорила: — «Нужно быть ближе к Богу! Нужно быть ближе к Богу! Мы о Нем совсем забыли, и — все забыли. И от этого, от одного этого, что мы забыли Бога, у нас тяжело на душе. У нас и у злых людей тяжело. Везде мрак и везде тоска. И от того одного,

что *нигде* Бога нет!» — «*Нигде* Бога нет!» — вторила Лиза. И при шепоте слезы начинали еще сильнее литься. Вся комната, такая тесная и душная, была чем-то точно наполнена: слезами ли, напряжением ли». Помолчав: — «Ты знаешь, я впечатлительна: но мне показалось, что Христос *вот где-то тут*, близко, *возле нас*».

«Потом вышли, и — ничего».

* * *

Еще раза два я видел священника. Он мне показался ограниченным и не интересным. Может быть, оттого, что я тоже, очевидно, показался ему не интересным. Всегда это взаимно. Искал тем для разговора, и они не находились. Только две ниточки проскользнули, ниточки-мысли, которые я не мог не запомнить, потому что они были мне новы:

— Вы никогда, В. В., не встречались *со странниками*?

— С какими «странниками»?

— Так... Русские странники... Странствуют из места в место, ходят по монастырям... Уходят в Святую Землю...

— И видал. И слышал. Т. е. видал, как они *народу что-то рассказывают*: но сам в разговор с ними не вступал и вообще личного отношения не имел.

Он не продолжал. Разговор оборвался.

Вопрос мне показался странным в том отношении, что он был *белорус* родом, чуть ли не из униатских священников; во всяком случае, *родители* его были униаты. Как «белорусу», так и «униату» — что до такого специального явления, как русский «странник»?! В другой раз он сказал рассеянно:

— *Недостаток* в Церкви собственно *один*, но такой, что пока он есть — ничего в ней нельзя начать и никогда ничего не выйдет. Митрополит здешний очень старается, чтобы духовенство было ближе друг к другу, но ничего у него не выходит, и он не знает, как это сделать. Недостаток, — что *каждый* из нас *есть особое лицо*... Да и паства, прихожане, люди: все — особые, каждый — особо; слитности нет, *единства нет*.

Он помолчал.

— А когда люди не слиты, все порознь, то какая же это «Церковь»? И Церкви нет, потому что нет любви.

Читатель заметит то, что мне тогда в голову не приходило: что слова эти заворачивают к «кораблю», к той общине «братьев и сестер», которую я видел и в которой все действительно были «слиты». Но наметя,

священник ничего о «кораблях» не думал: он сказал *свою* мысль, *свое* недоумение. И тут замечательно, что его *упорная* мысль: «вот *где* провал сущего, наличного», — совпадал с тем, что «нашли» для себя именуемые «хлысты». Он же сказал мне это как бы в ответ и возражение тому, что говорилось на Петербургских религиозно-философских собраниях, которые он не всегда, но посещал.

* * *

С тех пор «наши» стали посещать священника; я бывал там месяца в два — раз. «Наши» же бывали на неделе два раза. Я и «хотел бы обратить внимание» на священника, о котором начали мне говорить, что он «замечательного христианского настроения», — но мне было некогда. Оказывается, взрослого члена семьи все тянула туда молоденькая девушка, которая сидела тогда с матушкой и плакала. Уже после 3-го или 4-го посещения она с неопишуемым восторгом сказала мне:

— Вы знаете, матушка и батюшка не *живут* друг с другом. Они только кажутся мужем и женою. Может быть, и жили в начале... *Теперь*, во всяком случае, не живут.

Подняв лицо, я ярко подтвердил это:

— Я тоже это чувствую.

В выражении лица, в свете внутреннем глазного яблока, в фигуре и взаимном обращении мужчины и женщины, — всегда есть *следок* какой-то, по коему мы безошибочно, твердо угадываем, *есть* или *нет* между ними половое общение. *Есть*, — и все, от лица до манер как бы облиито каким-то (не в дурном смысле) сальцом, влагою, потом ли, запахом ли. Совокупляющиеся — все пахучи (не физиологически, а идейно, аллегорически, символически). Если же *нет*, — то прекрасное лицо аскета сухо, без влаги, без запаха. Ботанически это очень объяснимо: здесь, с одной стороны, мы встречаем маленькие цветочки, страшно пахучие (резеда, мускус) и, с другой стороны, — огромные пресные цветы, издали видные — махровые, без пестиков и без тычинок, без плодника и без пыльцы. «Монашество» есть уже в ботанике, не думайте; оттуда-то такая крепость и сила его в человечестве.

Священник был мне не интересен, но пропорционально была мила матушка. Именно — мила, приятна. «Братом» ее и я бы пробыл всю жизнь; с тем вместе она не внушала ни единого «косвенного помысла». Просто она была прекрасный человек. Особенно меня привлекала к ней простота. Однажды я был у них в церкви; народу тьма, теснота. И когда

кончилась служба, то мы вышли (протискались) с нею вместе на тротуар. Сделав сажень шесть по тротуару, она сняла (очевидно, неприятную ей) шляпку и, вынув из кармана шапочку, — как мальчишки бедные носят, из Манчестера, — надела ее. И милая, и ребенок вся, в бедном черном пальто, пошла в этой едва переносимой шапочке. И улыбается: весело, что бедна и невзрачна.

Ну, хорошо. Но мне дела нет. Только однажды «наши» приезжают оттуда и заливаются смехом. Спрашиваю, «что?» — не отвечают. Наконец, рассказали:

— Приходим, чтобы у батюшки с матушкой напиться чаю после всенощной. Но поспешили рано; всенощная еще не кончилась и далеко не кончилась. Входим, стучим (в наружную дверь), — не отпирают. Еще стучим — не отпирают. Опять стучим — не отпирают. Звонили — нет. Сели на ступени...

И это — картина: сели на ступени, как пилигримы перед Сионом или как «неразумные девы» известной притчи. Тут замечательна уже создавшаяся тяга — «пойти туда»; тоска — если «не пойти»...

Просидели минут двадцать, как изнутри послышались звуки отпираемой двери; и когда они вошли в прихожую, то увидели какую-то изящную даму, накидывающую на себя дорогую ротонду, и еще «так себе замухрышку», одевающего кафтан, и, наконец, хозяйку дома, «матушку», которая с гостями прощалась. Все произошло быстро, ничего нельзя было рассмотреть. «Наши» вошли, и началось обыкновенное... Разговоры, потом вернулся от службы батюшка. Чай. И — «домой».

Тяга усилилась...

«Старшая» из посетительниц, которой говорили, что она здесь, в повышенной церковной атмосфере, найдет «покой душе своей», «здоровье» на усталые нервы, — 2–3 дня поразмышляв о том, должна ли она «успокаивать свои нервы» или продолжать и далее и еще глубже «трепать их» — с детьми, в уходе за ними и досмотрев за ними, — решила «отставать» и «прекращать» посещения, потому что раз *есть* дети и это уже *факт*, то рассуждать нечего и долг ей указывает, *где* быть, хотя бы и с «измочаленными нервами». Младшая же посетительница, без детей и свободная, стала больше и больше вовлекаться в посещения, и уже ходила одна — или «к церковной службе», но непременно — «туда» или с кем-нибудь из детей, с одним, с двумя. К церковной службе, и «так» вообще, к чаю...

Я с корректурами, писанием статей и заработком «хлебов» не имел возможности пристально на этом сосредоточиться. Но «косым глазом» замечал...

Это почти нельзя передать словами, нужно было видеть воочию.

В «обычный день недели» сидят у нас в столовой гостя 2–3, да «мы» (семья): и часу в 10-м, в 11-м входит «младшая посетительница» дома батюшки... вся «не своя»... куда-то «отсутствующая»... как «покойница заранее» или как сомнамбула, идущая по крыше чужого дома... с этим — «не нужны вы все мне»... мне — «нужно *одно*». Привстанут, поздороваются, и она поздоровается, сделав усилие «к привету». И осторожно, с «не нужно» обойдя всех и чуть-чуть задержавшись, проходит к себе...

Так тянулась зима. Раза три зашел и батюшка... Как теперь догадываюсь — «с торжеством победителя»: ибо речей с ним никаких не выходило. Так как батюшка — «уважаемая особа», то я выходил проводить его до порога: и только потом сообразил (через год), что для этой-то минуты прощания он и приходил, потому что в столовой никакого «содержания для прихода» («зачем пришел») — не было.

Тут же происходила целая церемония: он вытаскивал отвратительную, как лягушка, пятерню свою и складывал пальцы для благословения... Сам он, при небольшом росте и широкоплечий, с тихим лицом, медлительный в движениях, — вообще (для меня) выражал тип лягушки, как бы поднявшей на вас голову (маленький рост) и гипнотизирующей вас своими стеклянными глазами. Не хотелось обратить внимания. Такой человек, которого «почему-то не слушается» и на которого «почему-то не смотрится». Но на что я не мог не смотреть глубоко изумленный, — это на то, что следовало за неопределенным движением пятерни: низко и низко склонив высокий и прекрасный корпус, «царевна-девица» подставляла обе ладони, скрестив их как для приятия св. просфоры («артос», — раздают за ранней обедней): сейчас же он клал маленький католический крестик (он был, по роду, из *униатов*, и в нем были веяния католичества) над ладонями, и лягушачьей пятерни касались губы покоренной «царевны» с таким проникновенным благоговением, как этого в быту не увидишь, а в истории прочтешь — и не поймешь. Но у меня — корректуры, и я только косым глазом вижу; и лишь через год, припоминая, стал соображать... Батюшка находился в тайном идейном соперничестве со мною, — и как ученик Влад. Соловьева, и как «иерей», — а в то время (Религ. фил. собрания) я довольно соперничал с ними. Он приходил, чтобы сказать и показать:

— Смотри, как *ты раздавлен*, ты и *весь дом твой* — все вы *тут сидящие*, со своими «Религ. филос. собраниями». Вот у вас была даровитая овца, — кровь ваша, плоть ваша. Но сказал Христос: «Не от плоти и не от крови рождается человек, а от *духа*». Где же *сила* вашей крови, вашего родства, вашего воспитания или отсутствия воспитания: вот пришел *Я*, носитель духа и духовного нового рождения, и родил

духовно в сию овцу новую веру, новую религию, — родил в нее новую душу: и теперь она совсем — *не ваша*, а только — *моя*. И вот знак: что она согнула спину, а я поставил сапог свой на спину ее, на голову ее, на душу ее, семинарский сапог в 5 р. 50 к., и ей так сладко, что я держу этот сапог на голове ее, как не сладки все ваши речи, друзья и вы сами. И она до тех пор только и счастлива, радуется, живет и дышит, пока [на] прелестных белых волосах (пышные, почти белые) ощущает мой не первой свежести сапог на своих волосах...

«Ну, что делать»... (бессилие), да и «корректур» (некогда).

Уезжаем далеко на лето... Прежде шумная, деятельная, гордая с переходом в самолюбие, — взяла себе самую маленькую, неудобную комнатку, — поселясь в ней с девочкою-подростком. И, отстраняясь от завязывания каких-либо знакомств вокруг, вся как бы ушла в себя, не обращая ни на кого внимания...

Думы девичьи заветные, —
Кто их может разгадать.

Только мне говорят «домашние», что не в «думах» дело, а в молитве: как все успокоятся в дому, все заснет в дому, она *одна* или *с подростком*, а то подросток *один*, но уже, очевидно, по ее инициативе, становятся на колени и молятся

...кому, неизвестно —

как дивно выразился Лермонтов. В самом деле, если бы были «молитвы вообще», «молитвенность вообще», ну — «наша православная» молитвенность: то отчего бы не ходить в *народные* церкви, в наши *широкие раскрытые* церкви, «с таким дьяконом» и все прочее. Явно, — выразилась и выделилась «тяга *в сторону*» без сомнения при словах и именах обыкновенных наших, обыкновенных православных. «Христос», «церковь», «Бог»: но все *почему-то* тянет куда-то, в какую-то узкую могущественную трубу, как бывает при топке печи. И вот «мы», «православие» — *здешнее* устье печки, такое широкое и ладное, всеми видимое и почитаемое; а там, сзади, — вовсе не видимая, вовсе темная труба, другое отверстие: тонкая труба прямо вверх, которая в сущности и «производит огонь», «совершает топку», ибо без нее печь не горела бы, не пылала бы, ничего бы не было, ибо — нет «тяги».

Но я не мог не умилиться.

Что может быть прекраснее и идеальнее образа, судьбы, как обращение и превращение умной, но эгоистической девушки в чудную

молитвенницу, в «заботницу» по дому, около детей, — которая не только сама религиозна, но и детей «приводит к Богу». Признаюсь, эти единенные молитвы я даже связывал с полом. Думал, просто пришел «возраст», — и из рассеянной девушки стало вырастать что-то более содержательное и прекрасное.

«Все хорошо».

На этом мы и остановились, не углубляясь в дальнейшее.

«Тяга», однако, развивалась все далее и превратилась в потребность быть «непрерывно в том обществе». Окончилось переездом Лизы в «тот район» города, где была «батюшкина церковь». Оказывается, в «районе этом» было еще несколько прозелиток, самых разнообразных слоев общества, которые все в сущности составляли «одно братство» или, вернее, «одно посестрие», так как, кроме священника да «уважаемого странника», из Сибири родом, и еще одного почтенного архимандрита, — крайне аскетического образа жизни, ученого, с литературными трудами, — других мужчин в этом «кружке» не было. Я называл — «кружок»: но у меня неудержимо стучало в голову — «корабль». Были все явные признаки «хлыстовского корабля», без его имени. «Корабль» этот неудержимо узнавался по присутствию особливой в нем «тяги», — именно какой-то «духовной трубы», которая вовлекала отдельные души, явно уже *врожденно-предрасположенные*, в свой могучий вихрь, сущность которого оставалась непонятной и которому явно не было сил противиться. Формально, — ничего особенного. Усиленно молятся: но кому же это «запрещено»? и *как* вообще это порицать? Но в сердцевине, в «нерассказанной сказке», вовсе не это: члены «кружка» или «корабля» повернулись спиной ко всему миру, — и хуже, чем его «отрицают»: они его вовсе не чувствуют, не ощущают, не видят, не знают. А «знают» только друг друга, и вот «друг к другу» они уже повернуты лицом, горячи, интимны, «не надышатся друг другом». Когда я узнал о принадлежности сюда ученого архимандрита, — я как получил удар в голову. «*Это ли не православный?*» — «*столп православия!*» Решительно *ничего* формально-укоризненного не было, да и *быть не могло* уже потому, что архимандрит занимал высокопедагогическую должность, был «наставник и руководитель юношества в вере и благочестии», «в догмате и святине»... «*Какие тут ереси, когда он все догматы знает, и ни от одного, конечно, не отступал!*»

...Все так и *было!* — явно!!

...Но была еще труба, «тяга».

К кому? Что такое?

Решась выяснить себе это, я, помолясь дома Богу (об успехе), пошел к той «красивой даме», накидывавшей на себя ротонду, когда

наших пилигримов странным образом не пустили в дом бабушки. «Она все знает», «она — там». «Пусть мне ответит», — думал я, на вопрос: «Отчего они не идут в открытые наши церкви, в народные церкви, в российские церкви, а только ютятся *около себя, друг возле друга*, в каком-то, очевидно, *замкнутом кругу?*» У меня была и резче формула: «Извините, — хотел я сказать ей, — в Российском государстве лечатся только медикаментами, рассмотренными в медицинском департаменте, и запрещена торговля *непроверенными средствами*, — не проверенными ни наукою, ни властью, — и которые если даже и целебны, то запрещены к продаже оттого, что *могут* быть также и не целебны, а — вредны»... «Объявите, — и я преклонюсь», а «пока не объявлено, — вы что-то делаете *преступное*»...

Вошел. Вышла. И пригласила «тут же, поближе», в кабинет мужа, техника и естественника. Села, и я изложил все, что хотел.

— ...Не «*проверено наукою*», — вы говорите? Но наука вовсе не обнимает всего, и авторитет ее ограничивается ее прямыми предметами. Разве «окончено» там, где наука «кончена»? Я так не думаю, и даже совершенно верю и знаю, что наука не поднимается выше своего приблизительно *среднего положения в космосе*, коего стоит выше религия...

Это было слишком убедительно. Я молчал...

— «*Средства науки*», — вы говорите?.. Вы видите меня здоровой, — надеюсь, *так?*.. Что же вы скажете, если я вам скажу, что я в течение нескольких лет лежала прикованною к кровати и ваши «медики», — и между ними профессора и светила, — ничего не могли сделать мне, ничем меня не исцелили. Исцелила — молитва, вера. Я здорова. Неужели же вы думаете, что я брошу факт своей жизни, который для вас есть «*мимо-идуций*» факт, а для меня есть сердцевина моей жизни, корень моего оживленья, — ради каких-то, как вы говорите «*ученых книг*»?! — которые «*учены*» и не «*опровергаемы*» только до тех пор, пока следующий ученый опровергнет их и покажет глупыми!.. Потому что вы знаете, что «*переломы*» в науке бывали и наука вообще «*спорит*»...

Я это знал.

— А мое *здоровье* — неоспоримо; это — *внутренний факт*, коего я знаю сущность. Я была мученица и урод, я с ума сходила от невыносимых головных болей. Я не в силах была связать двух мыслей. Теперь я говорю с вами. Тржусь... Живу...

Я окинул ее...

Никогда не видал такой прелестной женщины. Прелестное ее было в грации, в изяществе. Она вся очаровывала личностью, и очарование это лилось от ее искренности, теплоты, ясности ума. В ней не было

совершенно «шаблона», и она вся была только «своя» и шла «своим путем»...

Одета — изящно. Они были богаты.

Выходя, я столкнулся уже в прихожей со священником. Он смотрел на меня снизу своей широкой головой и был такая же лягушка, как всегда. Она была какой-то улетающей в небо птицей. — «Какая связь?! что общего?!»

Позднее я узнал, что «тяга» исходила из Сибирского Странника, которого, собственно, и имел в виду полууниатский священник, заговаривавший со мною о «странниках». Он интересовался не «явлением странничества», как фактом этнографическим или религиозным, как «фактом русским» и «православным», — до коего ему и дела не было: а спросил, «не видали ли вы странников?» — в сомнамбулическом полете своей души «вслед странника», его *лично* и его *одного*, который и его, и многих еще таких же увлекал за собою...

Чем?

Тайна...

Однажды только, рано зашедши к священнику деловым образом, в будень, я встретил у него за сухим чаем («без всего») не то мещанина, не то крестьянина... Пока я болтал с священником и матушкой, он выпил свою «пару чая», ничего не говоря, положил стакан боком на блюдечко («благодарю», «больше не хочу») и, попрощавшись, вышел. Это и был «Странник», — мужичонко, серее которого я не встречал.

От него «тяга»?!

Влиявшая на непоколебимого и ученого архимандрита?!..

На эту изящную, светившуюся талантом женщину?!..

Какое-то «светопредставление»... Что-то, чего нельзя вообразить, допустить...

И что — *есть!!* Воочию!!

Совсем позднее мне пришлось выслушать два рассказа «третьих лиц», и не увлеченных, и не вовлеченных:

— Разговор, — о каком-то вопросе церкви, о каком-то моменте в жизни текущей церкви, — был в квартире о. архимандрита: и мы все, я и другие присутствующие, были удивлены, что о. архимандрит, всегда такой определенный и резкий в суждениях, был на этот раз как будто чем-то связан... Разговор продолжался: как вдруг занавеска отодвинулась, и из-за нее вышел этот Странник, резко перебивая всех нас:

— Пустое вы говорите, пустое и не то...

И дальше — какое-то «свое решение», нам не показавшееся ни замечательным, ни убедительным. Нужно было видеть, что произошло

с о. архимандритом: с момента, как вошел «Странник», очевидно слушавший все из-за занавески, его — *не было*. «Нет о. архимандрита». Он весь поблек, принизился и исчез. Вошел в комнату дух, «духовная особа» такой значительности, около которой резкий и властительный о. архимандрит исчез и отказывался иметь какие-нибудь «свои мысли», «свои мнения», быть «своим лицом», — и мог только повторять то, что «Он сказал»...

Вспомнишь пифагорийское «Αυτός εφη», «Сам изрек», «Учитель сказал». ...Но и без шуток и «примеров», — тут было что-то параллельное, одинаковое в силе; было что-то, *проливающее свет на само пифагорейство*... Была страшная личная скованность, личная зависимость одного человека от другого...

И в этой-то неисповедимой зависимости — все дело...

Другой рассказ — члена редакции одной распространенной газеты. Хозяин газеты, старик, с большим значением для всего Петербурга, захотел увидеть этого «Странника», о котором и «чудных делах его в Петербурге» — стали везде поговаривать. Он пришел, в своем армяке и «простонародьи», и резиновых калошах, в редакцию, — «и с ним эта дама». По имени я узнал, что это и была та, которую я посетил. Когда окончилась «аудиенция», он сошел из второго этажа в швейцарскую и, называя только по имени (без отчества), сказал этой даме: «Посмотри, где мои калоши». Та заторопилась и, расшвыривая чужие калоши, отыскала «батюшкины» и из своих рук подала ему. «Батюшка» равнодушно надел и пошел. Она за ним побежала, как бы ничего не зная и не видя из окружающего.

«Не вижу, не знаю — *никого*»...

Как у архимандрита: «Что же я? — Вот *он* сказал»...

«Дивны дела твои, Господи!» — Волшебство, магия, на улицах Петербурга! — и в каком веке происходящие.

«Союз пифагорейцев в Петербурге?» — Возможно, *есть*.

Мне как-то случилось обмолвиться в присутствии священника, что ведь «личность этого Странника с нравственной стороны ничем не удостоверяется, потому что зачем же он все *целует и обнимает* женщин и девушек? Тогда как личность вот *такого-то* человека (я назвал свою жену) совершенно достоверна и на ее нравственное суждение *можно положиться*»... Нужно было видеть, какое это *впечатление* произвело. Священник совершенно забылся и ответил резко, что хотя «странник и *целует женщин* (всех, кто ему нравится), но поцелуи эти до того целомудренны и чисты... как этого... как этого... нет у жены вашей, не встречается у человека»...

Разве что...

Был «столбняк». Столбняк мысли, воображения, чувства. Прежде всего «столбняк» *какого-то очарования*, которое по его полной необъяснимости и какому-то всемогуществу нельзя не назвать магическим...

Я видел сущность дела: священник *ревновал* к славе странника. Малейшее *сомнение* в «полной чести» приводило его в ярость, в которой он забывался и начинал говорить грубости. «Да что такое?» — «Почему о *всех* можно сомневаться, а об *этом*, а об *нем* — нельзя?»

«Очаровательный Бейлис» и еще более — «Великий Шнеерсон»... У евреев, в их *течении хасидизма* (нет «секты хасидов», а есть глубоко спиритуалистическое и мистическое *течение хасидизма* в еврействе) есть «цадики». «Цадик» есть святой человек, творящий «чудеса». Когда «цадик» кушает, например рыбу в масле, то случится — на обширной бороде в волосах запутается крошка или кусочек масляной рыбы. Пренебрегая есть его, он берет своими пальцами (своими пальцами!!) этот кусочек или крошку масляной рыбы и передает какой-нибудь «благочестивой Ревекке», стоящей за спиной его или где-нибудь сбоку... И та с неизъяснимой благодарностью и великим благоговением берет из его «пальчиков» крошку и проглатывает сама...

«Потому что из *Его* пальцев и с *Его* бороды»... и крошка уже «*свята*».

Мы, собственно, имеем возникновение момента *святости*. Но этого мало, — начало момента, с которого *начинается религия*. «Религия — *святое место*», «*святая область*», «*святые слова*», «*святые жесты*»... «Религия» — святой «*круг*», круг «*святых вещей*». До «святого» — нет религии, а есть только ее имя. *Суть* «религии», таинственное «электричество», из коего она рождается и которое она манифестирует собою, и есть именно «*святое*»; и в «хасидах», «цадиках», в «Шнеерсоне» и «Пифагоре», и вот в этом «петербургском чудодее», мы, собственно, имеем «на ладонь положенное» начало религии и всех религий...

Которое никак не можем *рассмотреть*.

«Ум мутится», «ум бессилен»... «Ничего не понимаем»...

Суть «тяги» *подобна*, однако, *любви*. Я и говорил об «очаровании», которое явно чувствуется во всех «втянутых» и которому *остаются чужды все не втянутые*. Это не «любовь», но где-то в «*параллелях*» с *любовью*. Кто постиг любовь? Она ведь также не разгадываема. «Он» или «она» для всех — *ничего*. «Нимало не герой» и не «святой»: но для того, «*кто любит*», вот для *него* любимое лицо — вполне свято, не упрекаемо, не подозреваемо, и притом «несмотря на все *доказательства* противного». Любовь есть «*полная вера*» любящего в любимое. Но в «любви» этому особенному «изводу религии» мы имеем именно только параллель, а — *не тожество и не един-*

ство. В «изводе религии» содержится какое-то *высшее очарование*, полное идеальных и идеалистических моментов. «Он *научил меня молиться*», «он меня *исцелил*»... «Он *спас мою душу* от пустоты, от суеты»... «Он *вывел меня из греха*»... Вот отчего Ревекка ест кусок с бороды цадика... Тут «кусок» не сам-по-себе. Тут — «цадик», «свет из него»: «по его молитве я стала угодна Богу и он снял с меня поношение Израиля — *бесплодие*» (забеременела, стала иметь детей)... Для нас же, христиан, он «открыл свет правды», свет «нравственного миропорядка», научил «долгу и добродетели». «Цадик-Пифагор» открыл «гармонию чисел и музыку сфер небесных»... *Каждому* народу его «цадик» приносит лучшее и высшее, что он *угадывал* сердцем своим в веках... в целых веках. Например, русским показал великий образ *смирения*. Может быть высшая красота смирения? — Может быть!.. «Святым» у китайцев будет особенно трудолюбивый человек, великий садовод и цветочник. В знойной Индии — сон, дрема (Будда, буддизм). Грекам Пифагор дал «мудрость», евреям устраивает общее «плодородие». У нас?..

Русские пути очень разны и отчасти еще не определились по молодости сложения нации. Но *смирение*, кажется, входит в состав нашей неперменной святости.

У евреев «святейший» Авраам имел жен и наложниц: и у «плодовитого» народа это не было вменено ему ни в какой грех.

«Грех», — если бы он «уклонил сердце от Бога своего»; но он — не уклонил. Авраам не уклонил, Иаков не уклонил. А Иаков жил одновременно с двумя сестрами-женами и пользовался двумя их служанками. «Невообразимо» для русского.

.....

Странник, о коем я упомянул, утонул в море анекдотов о нем, которых чем более — тем гуще они заволакивают от нас существо дела. «Все русские — рассказчики, а не мыслители». Между тем здесь великая тема для мысли и для любопытства. Мы, конечно, имеем перед собою «что-то», чего совершенно не понимаем и что натурально — *есть*, реально — *есть*; что *присутствует* в этом страннике. «Анекдоты», каждый порознь — не объяснимы. Анекдот *сам-из-себя* — не объясняется. Значит, он объясняется из чего-то *третьего*, позади его и *au fond* существующего. В этом-то и заключается *главное*, — и чем выше гора анекдотов, тем все они становятся необъяснимее, и тем это *главное* вырастает в силе и значительности. «Значит, *есть* что-то невероятно *огромное*, если на плечах своих выдерживает такую массу анекдотического, наружно смешного материала, и нисколько не гибнет под ним».

Одно, что можно *объективно* заметить в Сибирском Страннике, заметить «научно» и не проникая в корни дела, — это что он поворачивает все «благочестие Руси», искони, но *безотчетно и недоказуемо* державшееся на корне аскетизма, «воздержания», «не касания к женщине» и вообще *разобщения полов*, — к типу или, вернее, к музыке азиатской религиозной лирики и азиатской мудрости (Авраам, Исаак, Давид и его «псалмы», Соломон и «песнь песней», Магомет), — не только не разобщающей помы, но в высшей степени их соединяющей. Все «анекдоты», сыплющиеся на голову Странника, до тех пор основательны, пока мы принимаем за что-то окончательное и универсальное «свою русскую точку зрения», — точку зрения «своего прежнего»; и становятся бессильны при воспоминании о «псалмах Давида», сложенных среди сонма его окружавших жен. Думать, однако, что «действительный статский советник Спицын, женатый на одной жене», как *религиозное лицо* стоит выше, нежели на какой высоте стояли Давид или Соломон, — нет возможности. Все эти «одноженные господа» суть именно «господа» и даже «г. г.», а не религиозные типы, не религиозные лица. Странник чрезвычайно отталкивает *европейский тип* религий, — и «анекдоты» возникли на почве великого *удивления, как можно быть* «религиозным лицом», иметь посягательство на имя «святого человека», при таких... «случайностях». Но ведь, «взяв анекдот в руки» и вооружившись настроением анекдотиста, — это же самое можно бы рассказать о Магомете, о Соломоне, о Давиде, об Иакове и Аврааме, которые, однако, были *близки к Богу* и явили «знаки» своей близости. Вот эти-то «знаки» есть очевидно и у Странника: их читают те, кому это *открыто*. Это не «псалмы», которые все могли бы *прочесть*. Таким образом, у него нет «знаков» *всеобщей убедительности*. У него есть какое-то *дело жизни*... Какое? «Исцелил» и «научил молитве» — вот все, что пока определенно известно...

Но это «исцелился» — *личная* сторона дела. Но есть еще «история»... В *истории* Странник явно совершает переворот, показывая нам свою и азиатскую веру, где «все другое»... Потому-то его «нравы» перешагнули через край «нашего». Говоря так, я выражаю *отрицательную* («не европейская») суть дела. В чем же лежит *положительное?* «Невем». Серьезность вовлекаемых «в вихрь» лиц, увлекаемых «в трубу» — необыкновенна: «тяга» не оставляет ни малейшего сомнения в том, что мы не стоим перед явлением «маленьким и смешным», что перед глазами России происходит не «анекдот», а *история* страшной серьезности.

Но в «узел» дела мы заглянуть не можем...

.....

Но не таков ли и вообще человек? Каждый имеет свою «потаянную историю»: а *как* она связывается и соединяется с его явной, большой, дневной историей, сплетенной из подвигов, из героизма и из святого? История и есть «священная история», — не одних евреев. Ведь около всякого дневного и явного — есть ночное и укрываемое. Никто не пытался связать «ночь» человека с его «днем». А связь есть: *день* человека и *ночь* его составляют просто *одного человека*, который днем совершает «подвиг» и ночью, — казалось бы, «совсем другое». *Другое ли?* — в этом весь вопрос. И природе дал Бог зори, утреннюю и вечернюю, тьму и свет, звезды и солнцу, *мириады* тех и это *одно*... И, конечно, — все *разно*: но — ничто *худо*. Но не *так* ли же с историей и с человеком?.. Верны ли наши *европейские* точки зрения?..

Они очень *привычны*... Но привычка — *не истинна*...

.....
.....
.....

Я не назвал по имени Странника, его имя на устах всей России. Чем кончится его история — неисповедимо. Но она уже не коротка теперь, и будет еще очень длинна. Но только никто не должен на него смотреть как на «случай», «анекдот», как на «не разоблаченного обманщика». *Кто его знает* — перед теми все «разоблачено»: и, однако, «тяга», «труба» — остается.

1913 г.

